

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА



## БАБЬИ КАМНИ

РАССКАЗ

В октябре просветы и радости так редки, что с нетерпением ждёшь-не дождёшься Покрова — главного осеннего праздника.

По той поре у запасливого мужичка на дворе и кудахчет, и похрюкивает, и мычит, и ржёт. Амбары доверху набиты сеном, за огородом — не один стожок соломы, в закромах — мучица нового помола, в достатке и пшенички, и ячменя. Почему ж не поприбавить? Самое времечко.

Полевые работы с дождями схлынули, а по первопутку можно и сани опробовать, в гости к сватьям-кумовьям прокатиться. А коли те опередят, подсуеются, пораньше запрягут да нагрнут ни свет ни заря, так крепкого хозяина врасплох не застанут. Пока разгорячённых лошадок оботрут, к коновязи пристроят, овсеца зададут, пока мужички степенно перекурят, пока хозяин похвастается перед гостем племенным гусаком, а то и сторгуется тут же обменять, пока гость прикинет вес “заводской” крольчихи, подивится её крупнющему выводку, хозяйка, благо не надо наскоро рядиться (сами ж в гости собирались!), метнётся по хате и в считанные минуты накроет такой стол, что станет ясно: гости заживутся с неделю, не менее. А для кого же такие запасы заготовлены, как не для родных-близких!

В чулане как раз сальцо морозцем прихватило, а в погребе такие разносолы, что зиму зимовать — в ус не дуть. В закромах, на полках, да прямо на земляном полу — кадки, кадушки, кадушечки, бочки, бочонки, бочоноч-

---

*ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Работала преподавателем иностранного языка в сельской школе и в Орле. Автор двух поэтических книг “Апрель” и “Прощённый день”. Член Союза писателей России. Живёт в Орле.*

ки, вёдра и кастрюли, кубаны и банки. А в них! Капустка квашеная, огурчики-помидорчики солёные, антоновка мочёная, маслята-рыжички с вишневым и смородиновым листом, с укропчиком и хренком. Выбирай на любой вкус! Хоть каждый день праздники устраивай. Не соленья, а вкуснотища!

А чтобы сохранить всю эту замочку-засолку, у проворной хозяйки с лета на завалинке не один десяток валунок просушивается, своего часу дожидается. Ведь для сохранности урожая, чтобы соленья хрусткими да вкусными оставались до поздней весны, а то и до новины, в бочки-кадушки гнёт укладывают.

Ни одна бабонька деревенская не упустит удобный гладышек. Да чтоб потяжелее, повесомее. Да чтоб из песчаника или кремния. Ни в коем разе не известняк, поскольку он для “кухарских” дел не годится: рассол закишей капусты или огурцов — и глазом моргнуть не успеешь! — разьест непригодный камушек, в прах рассыплет.

Величали этот “бриллиант”, а он и впрямь в хозяйстве драгоценен, в разных местностях по-разному: и гладок, и гнеток, и увальень, и тяжёдава, а то и просто — давок. Названия эти от работёнки его (такой простой, но такой необходимой на крестьянском подворье) — давить, придавливать, прижимать, утаптывать, жать да теснить. Коли камушек ладный, так и огурчики в рассоле пребывают, не пустеют, не всплывают. И рыжички в самый аккурат, и капустка так под ним сомлела, что сок её и не сок вовсе, а какой-то божественный напиток: и бодрит, и силушки придаёт. А силы мужичку ой как надо за зиму поднакопить, к работам весенним полевым поднабраться.

Где бы мужичок такой камушек ни заприметил: на берегу речушки ли, на лугу ли, в перелеске, валунок тот на телегу вскинет да жене в подарок и преподнесет. Хоть и зовутся увальни “бабыми камнями”, но собирают их испокон веку только мужчины. То ли потому, что тяжеловаты, то ли оттого, что не простые они. С какого места подобрал, оттуда же и энергетику на свой двор принёс. А с этим не шути. Бабоньки побаиваются что ни попадя в дом нести, а потом ответ перед мужем держать. Пусть уж сам хозяин рискнёт. Камень через некоторое время, как пить дать, себя покажет. Потому исстари к выбору его народ подходит серьёзно.

Упаси Господи поднять гнеток у просёлка! Ещё запретнее собирать “бабы” камни на росстанях, где пересечённые дороги образуют крест. Знамо дело, самое колдовское место — росстани. Всякая уважающая себя ворожея шмыгает под ночным покровом на это злосчастное место. Сколько её змеиного сглаза да шёпота легло на камушки, что к несчастью своему закатились на перекрёсток полевых дорог? Сколько бед и хвороб легло на их седые, порою даже замшелые, обветренные головушки? Приподарит непосвящённый в тайну “бабьего” камня жёнушке такой валунок, ан глядь — в подвале потоп. Обручи на кадушке от тяжести неведомых ни хозяйке, ни её мужу, впитанных в голышок чужих грехов лопнули, бока-днища рассыпались, рассол ушёл. Огурцы пустили такой дух — хоть вон беги. Капуста прогоркла. А грибы — плесень-плесенью. Все труды хозяйские — поросят в кормушку, а то и вовсе в навоз.

Предусмотрительная бабонька, как подъедятся разносолы, кадушки — прямиком на реку. Промоет, утопит в омутке на всё лето. А валунки сполоснёт да отдыхать пристроит. И камушки до поры засыпают. Вылежатся они к осени, дождями выполощутся, солнышком прожарятся. Принохаешься: вольным духом пахнут да свежей проточной водицей. Ошпарит их хозяйка кипяточком — разбудит. И хоть сразу в кадку.

Другое дело — увальень-находка. Хозяин несёт его, не давая в руки жене, в баню. Прокаливает, пропаривает, смывает всевозможные колдовские чары. А перед этим, не переступая порога, снаружи бани, “вычитывает” над камнем:

“Снимаю с тебя, царь-камень-каменище, дремоту лесную, тяготу земную! Не режь ребром, служи добром! Станешь давить — не раздави, из рук скользнёшь — белых ног не трожь. А сунется ворщице, не сдвинет каменище! Аминь”.

После пропарки хозяйка поджидает остывший и обсохший камень с холстинкой. Входит в горницу, чтобы каменюгу “умаслить”. Конопляным или

подсолнечным маслом на него поливает, со всех сторон натирает. Ещё наши предки считали, что валунок может хранить память долгие годы (быть злопамятным или добропамятным), и потому перед тем, как доверить ему ответственную работу — хранение продуктов на зиму для всего семейства, — новый камень “умасливали”, завоёвывали его расположение.

Коли приснится хозяйке, что она гнёт-валунок в кадуюшку укладывает, возрадуется сердешная (как душечка-то не ёкнет?): клад, по весу с приснившийся камень, в самом недалёком будущем сыщется.

Это теперь банки-склянки, а раньше (веками!) соленья-квашенья хранились в бочонках да под гнетком. Камушек каждый раз подбирали на глазок. Вес его зависел и от величины кадки, и от того, какой продукт в неё укладывался.

К примеру, для огурчиков сойдёт средней тяжести грузец, а помидор — овощ нежный, и обращения к себе такого же требует, потому и валунчик в помидорный бочонок отбирают самый наилегчайший. Грибы же да капуста — ребята простецкие, и камень аккурат по ним — поглубе да потяжелее приберегают.

Прежде чем гнёт уложить на дощатый дав-кружок, принято ошпаривать и камень, и круг крутым кипятком, споласкивать солёной водицей. Бабушка моя, дочка знаменитого на всю округу бондаря, суеться по осени в погребце у наполов-кадушек, каждый раз прищёптывала известную любой деревенской бабе присказку: “Не сеяно, не молочено, в воду обмочено, камушком пригнетено, к зиме приблюдено”. Прохлопочет, бывало она до темна в подвале, “уберёт напольчики в зиму”, перекрестит каждый не один раз, а как выберется на свет Божий, подопрёт дверь да напоследок и прочтёт: “Помидорчики-огурчики во соку, что красна девка на боку: лежат — не маются, спят — наслаждаются. Будет нечистому пусто, а нам зимой густо. Аминь”.

И по сию пору известна хозяйкам эта нехитрая присказка. Выслушает её камушек-валунок, закричит, поднатужится — холода-то ещё только подкапывают, работы невпроворот! — и станет ладно справлять своё дело: следить, чтобы грибочки-яблочки из рассола не выскакивали, чтобы круги чинчином поверх солений возлежали. Тогда и зиму перебедовать — что с горы камушек скатить.

## ПОЛЕННИЦА

### РАССКАЗ

Лет пять как в наши края провели газ. Мужики поднатужились, собрали денюжат, понимая неоспоримое удобство, и за одно лето деревня лишилась великой ценности — русской печи.

Кучи ломаного кирпича громоздятся на подворьях. От них тянет золой, топлёным молоком, томлёной гречкой. Иногда пройдёт мужик мимо, кинет взгляд на останки, что угревали его когда-то в холода лютые, угощали борщечком с разварочки — и защежит сердечко хозяйское, ан деваться-то уж некуда, дело сделано. Да и жена не нарадуется — ни копоти, ни сажки. Чистота и порядок.

На краю Коноплянок, у самой околицы, коротает восьмой десяток дед Прохор. Раньше, как при силе был, служил он в лесничестве. За лесом приглядывал, за зверьём, за птицей. Несговорный был! Отловит в неурочное время охотника — ни за какие коврижки не умолит. Ружьё отберёт, штраф наложит, и не пикни! Но всё по справедливости. За каждого чирка бился, за каждую корявую сосенку. Упрямый — не приведи Господь!

Как надумали трубу газовую вдоль деревни тянуть, тут Прохор снова зафордыбачился. Не могу, мол, с печкой расстаться, и всё тут. Рука, мол, изничтожить не подымается. Так и остался лесовик “не газифицированный” по сей день. Посмотришь на зорьке с крутояра на село: лишь над Прохоровой крышей дымки курятся.

Уж и болезный дед стал, а всё упирается соседа—шофёра сговорить дровишек подвезти. Сам да сам. На своём престарелом Воронке. Хозяйства он, кроме несушек, не держит: “На кой ляд, коли лес—батюшка сполна кормит”. Времени потому — хоть отбавляй. Заготовит загодя топлива и похрапывает на печи, косточки прожаривает.

Встанет летом до солнца, прихватит топорик и с Воронком айда в лес. Тут он — дома: каждую сухостойну помнит. Подвалит возок. Выедет на опушку, остановится передохнуть: “А куды гнать-то?” Распряжёт конягу по-пастьи: “Нехай травкой лесной поддержитесь”. А сам издали на деревню любуется.

Выплывает солнышко, будто газовый шарик Алёнки, соседовой внучки, зависает над Лёхиной хатой, зажигает зелёное полмя в Савельевой роще. Избы только-только просыпаются. Изредка икнёт робкий кочеток, гамкнет, засышая, наблудившаяся за ночь псинка. Улочки тихие-тихие, чуть розоватые спросонья, покойные, отдохнувшие.

Конёк похрумкивает, клеверок в самую силу вошёл. Дед приваливается на сенную охапку, лежит-дожидается, когда калитка первая очнётся, когда у Маринкиной хаты бадья в колодце ахнет. Не хочется ему будить тележным скрипом додрёмывающую деревеньку.

Надышится старик родимым лесным духом, пощуняет пустозвонку-кукушку, что, приметив его, без умолку битый час старается. Хлебнёт водички из алюминиевой кружки (года два назад повесил на разлапистый крушинник у родника). Напоит из картуза Воронка (избаловал когда-то, теперь и отучать ни к чему) и с Божьей помощью — до хаты.

В дальнем углу придворка у Прохора пристроены козлы. Жизнь, проведённая в лесу, наловчила деда обходиться без помощников. Перепилит он в одиночку на двуручке сваленный посереде двора сухостой, поколет на поленья. Для такого дела имеется в хозяйстве огромный дубовый пень. Помашет дед тупорылым колуном, а уж потом пустит в ход лёгонький топорик. Им заниматься — что в игрушки баловать.

Переносит лесник дровишки охапками под сарай да в поленицу сложит. Подворье у Прохора старое, ветхое, дождями промытое, серое да мшистое.

К вечеру умается дед, присядет на крылечные порожки, смотрит: а дровишки в сумерках желтеют, свет от них мягонький лучится. И почудится старику: поленица — не поленица вовсе, а распахнутая дверь в хату. Тепло и уютно станет старику на душе. Выйдет он нарочно за калитку, снова вернётся к своему бобыльскому двору, и кажется, будто кто-то его встречает — двери настезь.

С холодами натаскает Прохор дровишек в хату, просушит в печурке загодя, разведёт огонь. Заструятся в небо из трубы над его крышей белые дымы. Потянет печным теплом. И отгаёт одинокая стариковская душенька. Не может он объяснить ни себе, ни людям, почему так дорог ему берёзовый дух, отблески пылающих поленьев на стенах его полужилой хаты. Только знает Прохор навяряка, что без леса, без поленьев этих смолистых, без ласкового мерцания малиновых угольёв, без предрассветных поездов на уставшей от жизни, как и он сам, коняге за сушняком, без опушки, с которой деревня — как на ладони, — и жизнь ему не жизнь.

Подсядет дед к огню, протянет заскорузные ладони, обогреет. Щёлкнет-треснет уголёк, а Прохору будто выстрел в глуши лесной почудится. Прислушается: лист в осиннике шелестит, дятел в соснячке дробью сыплет.

Бушует январская вьюжина, вертушок в сенцах срывает, лютым зверем-ветрищем воротинами лязгает, а в каморке Прохора-лесника самовар на можжевеловых веточках гулит. Мёдом диким да черёмуховыми почками пахнет.

Светлые воспоминания да возок-другой дровишек поддерживают тепло в одинокой Прохоровой хате и в незачерствевшей старческой душе. А недавно объявилась неожиданная радость на его пороге: зачастили односельчане к нему на огонёк. То от радикулита на печи его спасаются, то холодец, оказывается, не такой духовитый на плите газовой стряпается, а то напроятся просто так, посидеть за чайком, подбросить в печку своими руками парочку полешек.

Видать, и впрямь светится в ночи его поленица, словно распахнутая дверь. А Прохор и рад теплом поделиться.

## ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА

### РАССКАЗ

Исход марта. Вчерашний тёплый дождь подхлестнул усталые стада зачуханных снегов. И они, наблудившись по оврагам да балкам, суетясь и толкаясь, рванули резвыми ручьями в пойму реки Кромы, чтобы там бесследно затеряться среди таких же, как они, чумазых и грязных...

Павлуше скучно одному на хуторе. Мать с утра до вечера по хозяйству, а отец и соседский Лукич пропадают второй день в Савином урочище — готовятся к тетеревиному току. Лукич — заядлый охотник. Несколько лет назад сманил отца с собою. Известно, кто побывал хоть раз на тетеревиной охоте, заболевает ею навсегда. И вот теперь из разговоров, а порою и жарких споров отца и Лукича Павлуша знает всё об этих замечательных птицах.

Иногда отцу удаётся подстрелить парочку тетеревов, и бабуля готовит такое жаркое! Небольшие ломтики мяса по какому-то волшебному рецепту запекает она в гоголе-моголе и щедро сдабривает подмороженной калиной.

В конце марта — начале апреля на вырубке, на лесные поляны слетаются тетерева потоковать. Самое время помериться силой, похвастаться опереньем перед самочками.

Таких токовиц в наших краях несколько. Дед Лукич рассказывает, кроме Савина леса, встречал он тетеревов и в сенокосах у Большого лога, и в Копытцах, где они облюбовали небольшое местечко в зарослях лещинника.

Сколько Павлик ни кланчил, сколько ни умолял взять его взглянуть на диковинные тетеревиные танцы, охотники не соглашались. “На следующий год обязательно”, — отнекивались каждый раз.

По всему видно, схрон готов. Ещё с вечера отец переговорил с Лукичом, почистил ружьё, просмотрел патронташ, собрал тормосок.

Павлик решил во что бы то ни стало увязаться за охотниками. Из дому они выйдут до свету, и чтобы не прозевать, парнишка улётится на ночь в горнице. Он уже знал, что тетерева начинают токовать в полнейшей темноте, за час до рассвета.

Не успел отец подняться с постели, Павлик в полной амуниции уже сидел на кухне, дождался. Деваться некуда! Сколько раз отговаривались.

— А ты куда это, пострел, наострился? — подивился Павликовой прыти появившийся на пороге Лукич.

— На токовище, за тетеревами, — ничуть не смущаясь, выпалил Павлик.

— Ну, что ж... За тетеревами, так за тетеревами... Только не распужай ненароком, — крикнул недовольный Лукич и с надеждой посмотрел на отца.

У Павлика замерло сердце... Сейчас отец передумает и отправит досыпать!

Но тот будто не заметил ворчания старика, перекинул тормосок через плечо и вышел на крыльцо.

Павлуша с облегчением вздохнул, нахлобучил предусмотрительно, чтоб уж не возвращаться в дом, кроличий треух на голову и шмыгнул за дверь. “Колька с Ромкой дрыхнут и ни о чём не догадываются! Обзавидуются пачаны!” — радостно промелькнуло в голове.

Зрелая мартовская ночь дышала лёгким морозцем. Двинулись гуськом: впереди Лукич, следом — Павлуша, а отец, чуть поотстав, замыкающим.

Из перелесков тянуло перепрелой прошлогодней листвой, из оврагов — талой водой и размокшей глиной, с обочин — польнью, а с дороги, от расхристанных там и тут охапок силоса — прогорклостью и прокисшими шами.

Шли молча. В этот час малейший шёпот слышно за версту. Павлик поотстал и зашушукался с отцом, но Лукич цыкнул на них, и мальчишка до самого леса уже не смел открыть рта.

Луна белая-пребелая, словно застывший круг топлёного смальца, выкапталась было над Глиняной дорогой, но то ли от пара, поднимающегося из Марьиной лощины, то ли от дыхания споро движущихся людей начала заметно таять. А когда остановились передохнуть у росстаней, от неё почти и след простыл. Истончилась. Не луна, а чуть приметная дымка.

Справа из полумрака вышел кособокий омет. Запахло мокрой мякиной и мышами. “Уху!” — послышалось над головами охотников, и, сверкнув хищными зелёными звёздочками, тяжело взмахнула сова. “Уху!” — послышалось уже со стороны сосняка.

— Мышкует плутовка, — шепнул отец мальчишке на ухо.

Лукич подал знак, и, притаив дыхание, охотники вошли в Савин лог. Павлик старался ступать так, чтобы не хрустнула веточка, не щёлкнул камушек. Первый раз на тетеревиной охоте! Не мог же он подвести отца. Кажется, у мальчишки даже сердце остановилось. И забилось опять лишь после того, как услышал: “Всё. Пришли”.

Павлик огляделся. Шалаш так ловко запрятан, что никакая птица его не распознает. Берёзовый хмызник переплетал вбитые в талую землю колья. Шалашик притулился под густой развесистой сосной. Мохнатые лапы её служили надёжной крышей. Постараешься — ничего не разглядишь. А уж тетеревам додуматься ума точно не хватит. Да и не до того им. В этой поре они полуглухие, полуслепые, настолько токованием увлечены.

— Главное, чтобы понизу схрон неприметным был. Высоко-то они сейчас не заглядывают, всё по земле вытанцовывают, — пояснил Павлику отец.

Лукич дело своё знает. Всё предусмотрел. Шалаш как раз в самом центре токовища сладил. И обзор из замаскированных лапником бойничек-окошек — что надо! Даже ольховые пенёчки-сиденья имеются. Павлик устроился на одном таком круглячке и замер.

Кажется, чуть посветлело. А может, просто глаза пообвыклись. Утро в лесу наступает после того, как слетятся старые петухи-тетерева на токовище. И для почину оттокуют около часа, заманивая на свои весенние турниры молодняк, а вместе с ним и рассвет.

Боясь пропустить появление петухов, Павлик изо всех сил вглядывался в березняк.

Старый тетеревятник Лукич ходил в байкальской тайге на глухарей, на Сахалине брал рябчика. По молодости бывал в Приполярье. Там водится ещё одна родственница нашего тетерева — белая куропатка. Каких только охотничьих баск-небылиц о тетеревиных не знает старик!

“Птица эта не простая, — говорит он, — для царской охоты. В старые времена государи наши выезжали в марте-апреле полюбоваться токовыми тетеревами. Блюда из дичи у них завсегда не сходили со стола, а уж тетерева были украшением любого пира”.

Все тетеревиные неприхотливы, питаются, чем Бог послал. Зимой из-под снега какой корм добудешь? Перебивается птица в холода с веточек на почки, с почек на хвою. Иногда, правда, посчастливится полакомиться в орешнике серёжками.

Летом, конечно, попривольнее: и травка, и цветочки. А коли комарик-паучок под клюв попадётся, так и он согдится.

Осень — самая сытная пора. И ягодка любая, и грибы — клюй, не хочу. Отъедаются тетерева, запасаются впрок.

Вспомнилось Павлику, как ходили они с отцом на лыжах под Новый год за ёлкой. На поляне в Ярочкином логу прямо из-под ног у него тетеревок выпорхнул. Подивился Павлик, узнав, какое необычное зимовье устраивают эти птицы. Выкапывают в снегу лапами и клювом камерку-жилище размером

чуть побольше себя, чтобы места хватило оперенье распушить, “утреться”.

Проехались они с отцом по березнячку и обнаружили несколько дырочек в снегу.

— Это трубы тетеревиных хаток, — пояснил отец. — Спит тетеревок и в ус не дует. Под снегом тепло, минус два, не больше. Проголодается, выпорхнет, пообклюёт почки-веточки и опять — нырь домой, в сугроб.

Только представил Павлик, как он в школе об охоте друзьям расскажет, слышит: “Фр-р-р, фр-р-р, фр-р-р!” — опускаются на полянку три петуха. Оперенья не разглядеть, слышно лишь, как шипят друг на друга, “чуфыркают”. Подпрыгивают, подлётывают и поют-бормочут, словно вода в котле булькает-кипит.

А как забрезжило, рассмотрел их Павлуша: чуть поменьше деревенских, аккурат с курочку-несушку. Сами иссиня-чёрные, а хвостики — в белых кружевах. И на крылышках — манжеттики белые. Головку алая шапочка-гребешок украшает.

Прошло около часа, заметно посветлело, и на поляне можно было рассмотреть до двух десятков птиц. Явились и молодые самцы. Заслышали призывное бормотание старых петухов и слетелись на турнир. Да и перед тетёрками не грех покрасоваться. Буровато-рыжие, невзрачные, в чёрненьких веснушках самочки заинтересовались песнями петухов и не заставили себя ждать.

Восхитительно зрелище! Около десяти самцов, напирая друг на друга, квохчут, чуххх-ххыкают, булькают, бормочут. Вот два ближних петушка разодрались в пух и прах. Развёрнутые веером хвосты подняли вверх. Вытянув шеи навстречу друг другу, бойцы раскрыли крылья и опустили их вниз будто для того, чтобы размахнуться и с ещё большей силой броситься в атаку. Тот, что покрупнее, оттеснил соперника на край поляны, и несчастный петушок, чуфыркавая и всхлипывая, закондылял подальше от обидчика.

Победитель, горделиво вышагивая, направился к курочкам. А те, не подозревая о присутствии людей, разгуливали под носом у охотников. Петух шёл прямо на шалаш.

Павлик мог отчётливо видеть, как тетерев пританцовывал на месте, делал какие-то замысловатые коленца, нежно булькал навстречу самочкам, опять танцевал то подбирая, то распуская опущенные крылья. При этом хвост его выдерживал вертикальную стойку. Цветочек на склонённой голове то становился пунцово-красным, то бледнел, распускаясь на два лепестка. Иногда ухажер задирает головку и издавал такие отчаянные звуки, что его, наверно, было слышно на краю леса.

Петушок подобрался так близко, что на лапках и пальчиках было видно густое оперенье, как говорил дед Лукич, “лыжи”. Это благодаря им тетеревок не проваливается в рыхлом снегу, не промерзает в морозы. Сидит на них, словно на тёплой подстилочке. Из ноздрей тетеревка торчали мелкие щёточки. “Чтобы снег не набивался, когда бултыхнётся в сугроб”, — вспомнил Павлик. Он мог любоваться этими чудесными птицами бесконечно.

Совсем рассвело. Важный петух вытанцовывал для самочек, распевая их любимые песни. Чуть поодаль несколько других тетеревов подтягивали ему в лад и кружили вокруг курочек.

Лукич молча указал отцу на ближнего петушка, а сам прицелился в того, что токовал у поваленной коряги.

Павлика обожгло. Он должен что-то сделать! Сейчас эти великолепные птицы умолкнут навсегда, и эта поляна никогда уже не услышит их волшебного токования. Павлик вскочил и ломанулся вперёд, сминая хмызник. Закричал, захлопал в ладоши, стараясь произвести как можно больше шума.

Птицы шарахались от шалаша, вспархивали одна за другой и исчезали в рассветном лесу. Павлик носился по поляне и орал что есть мочи. Сейчас он не думал ни об отце, ни о Лукиче, только о том, чтобы тетерева поскорее улетели с токовища.

Отец выскочил из укрытия и кинулся к мальчику. По щекам Павлика катились слёзы. Он прижался к отцу, и тот сквозь всхлипывания смог разобрать: “Никогда не стану охотником... Пусть живут!”